

# ОН УМЕР, ПОТОМУ ЧТО ПОВЗРОСЛЕЛ

## ОН УМЕР, ПОТОМУ ЧТО ПОВЗРОСЛЕЛ

Девять дней без Сергея АВЕРИНЦЕВА,  
крупнейшего православного мыслителя и  
ученого-энциклопедиста



**Я** не знаю, как рассказать, что в семидесятые годы в Москве жили люди, дававшие христианские обеты написать или перевести книгу ради конца советской власти. Сегодня в это никто не поверит. Тем не менее это было так, и в больницу ко мне пришел однажды Аверинцев -- рассказать о третьей книге трилогии Льюиса «Мерзейшая мощь». Он пересказал мне этот толстенный роман так, что я взялась за перевод и к восьмьдесят третьему году закончила, ибо дала обет во имя краха советской власти. Обет мой, видимо, был услышан, и наступило то, чего все мы так ждали. Мы вовсе не питали иллюзий, что это будет прекрасно. Мы надеялись лишь, что кончится гнет.

Вероятно, Сережа Аверинцев переживал этот гнет тяжелее, чем я, и за избавление от него заплатил больше. Он платил за него все последние восемнадцать лет своей жизни, а теперь смотрит на нас с небес. Его и при жизни называли великим православным мыслителем, крупнейшим филологом и последним русским энциклопедистом. Все это верно. Но прежде всего он был Аверинцев The Child -- это самый редкий дар и самая невосполнимая утрата.

Все эти последние годы он уходил, потому что переставал быть ребенком. Его стали рвать на части люди, которые едва ли прочли что-нибудь о христианстве, кроме его собственных работ, и уже брались учить и упрекать его. Это было ему не впервой -- он и в семидесятые столкнулся с неофитством, с людьми, которые после его пятой лекции упрекали его самого в либерализме,

мягкосердечии и служении двум господам. Аверинцева пугали диссиденты, но он считал делом чести катехизировать их, сочувствовать им, хотя вообще боялся людей непримиримых. Об одном нашем общем друге, решимостью напоминавшем Жозефа де Местра, он с обычной своей растерянной интонацией говорил: «Но нельзя ли ему намекнуть, что христианство не вполне чуждо милосердию?!» Парадокс Аверинцева заключался в том, что огромное большинство диссидентов, сколь бы пылко они ни бурлили на кухнях, могло выживать в советском социуме и даже как-то управляться с бытом. Аверинцев, которого упрекали в конформизме, самого советского воздуха не выносил совершенно. Чудом была его работа в институте, и только прямым вмешательством Провидения могу я объяснить тот факт, что выходили его книги. Не случайно первая его работа, которую я прочла по восторженной рекомендации Ирины Роднянской, называлась именно «Провидение» -- это была статья для «Философской энциклопедии».

Тогда, в шестьдесят шестом, Роднянская сказала, что у них в редакции БСЭ появился дивный мальчик -- и мальчик оказался действительно дивный, такой, по которому сразу было видно, что он не учился в школе. Это спасает от травм в детстве, но приводит ко многим куда более серьезным травмам в юности. Аверинцев был поздним ребенком -- отцу его, крупному, но бедному биологу, открывшему даже какой-то новый вид бактерий, названных в его честь, было за шестьдесят, когда родился Сергей. Отца я уже не застала. Сергей жил в районе Остоженки с матерью Натальей Васильевной и женой Натальей Петровной. Жена была и осталась прелестной и кроткой, они учились на одном курсе, тогда как старшая Наталья была жесткой и решительной; он, однако, умудрялся быть замечательным мужем и сыном. Больше всего на свете они с Наташей-младшей обожали детей и котов; бытовала шутка, что мать не разрешает заводить ни того, ни другого. Дети у них появились в самом деле поздно -- кажется, Сергей немного растерялся, когда эта его мечта осуществилась и на свет явились Маня и Ваня. Бытовая его беспомощность и болезненность поражали: помимо хворей, которые он отыскивал и подозревал, он перенес в детстве вполне реальный полиомиелит, носил ортопедическую обувь, категорически не ладил с вещами... Все это таинственным образом сочеталось с непредставимой трудоспособностью и упорством во всем, что касалось его убеждений. Говорить с ним можно было только о том, что интересовало его, -- он властно направлял разговор и вовлекал вас в его орбиту, но, слава Богу, нам интересно было одно.

Он любил повторять, что у дьявола две руки, равно отвергая ложь имперскую и либеральную: «Это все, что вы можете предложить?!»

Феномен Аверинцева -- результат чудесного совпадения его катехизаторского дара с потребностями эпохи. Началось то, что он впоследствии называл «сокровищем семидесятых» -- это сокровище в значительной степени им и создано. В шестьдесят девятом окончательно наступил тот недомороженный заморозок, который не давал нам даже основания повторить вслед за Пастернаком «Мы были музыкой во льду». Льда не случилось -- мы стали музыкой в болоте. В это время и стало формироваться наше честертоновское общество, энтузиастом которого был Сергей. Он подружился с Александром Менем, великолепен был их контраст: пылкий отец Александр, которого ничто не брало -- так свято он был уверен, что его ведет Господь, -- и тихий, с высоким голосом и виноватой улыбкой Аверинцев, столь же упрямый и ни секунды не троящий даром. Как и в Честертоне, в Аверинцеве преобладало ребяческое, иногда совершенно неожиданное: он обожал играть, и нам случалось часами составлять классификацию паскуд и зануд. По этой классификации он был зануда сапиенс. Моих детей он поразил тем, что процитировал им двустиише чуть ли не XVIII века -- «Прекрасен всякий зверь, имея сзади хвост, затем что он умен и, между прочим, прост». За эту любовь к зверям дети немедленно прозвали его Зверинцев и вообразить не могли, что этот человек -- профессор, чьи лекции сбегается слушать вся Москва, ученый, чья голова набита именами и древними языками. Он доказал нам, между прочим, что кота следует называть елур, ибо мышелов по-гречески «айлурус» или что-то в этом роде, и в результате фонетической адаптации образовались бы именно елуры; он изобрел целую классификацию -- елуроманы, елурофилы, мог позвонить моей дочери Марии и серьезно сообщить, что придумал еще елурофобов... Звонили мы друг другу чуть не ежедневно и разговаривали часа по три. Это был способ жить, когда жить становилось нельзя. В тридцать четвертом году, ребенком, я могла выйти из дома в Ленинграде, увидеть снег и сказать себе: вот рай.

В Москве семьдесят восьмого я видела снег и не чувствовала почти ничего. Рай был возможен в разговорах с очень немногими людьми, круг их сужался, одним из них был Аверинцев.

С восемьдесят шестого началась плата за распад империи и за все наши обеты. Он никогда не отказывал в

лекциях, выступлениях, разъяснениях, не уставая при этом повторять: «Я никому не нужен». Парадокс заключался в том, что в семидесятых ловили каждое его слово, а в восьмидесятых и девяностых ему готовы были аплодировать и чуть ли не поклоняться, но категорически не желали понимать, что он говорит. Он любил повторять, что у дьявола две руки, и с порога отвергал выбор между ложью имперской и ложью либеральной, недоуменно спрашивая: «Неужели это все, что вы можете предложить?» Он повторял, что не снят ни один из вызовов XX века, но и об этих вызовах никто не желал вспоминать; вдобавок он начал болеть серьезными, невыдуманными болезнями, и я впервые заметила, каким мучнистым, отекившим стало его лицо. Он уехал главным образом потому, что мог в Вене лечиться. Была операция на сердце. Он продолжал возвращаться сюда, но происходящее радовало его все меньше. И вот уже какой-то крайне решительный человек вымогал у меня телефон Аверинцева, а я не могла его дать -- ибо когда он жил на даче, нарочно этого дачного телефона не брала, зная свою слабость и опасаясь выдать. Человек настойчиво доказывал, что должен сообщить Аверинцеву тайну. Тайна заключалась в том, что наступил эон Водолея. «Пожалейте Сергея Сергеевича, -- лепетала я, -- он серьезно болен». -- «По вашему идиотскому тону я вижу, что вы не понимаете, насколько все серьезно на самом деле! -- железным голосом говорил этот человек. -- Понимаете ли вы, что он мне нужен?!» То, что он стал вдруг нужен слишком большому, критическому количеству именно таких людей, было одной из причин его тоски в последние годы.

Волшебнее всего он преображался, читая свои духовные стихи. Особенно он любил стихи о святой Варваре -- историю из житий, написанную, однако, на основе рассказов давней своей знакомой, которую истязали на Лубянке. Дева, поющая в цепях, -- это она. Стихи свои он читал по просьбе и без просьбы, зачитывая ими даже мою мать -- женщину строгую, подтянутую и замкнутую. «Неужели он полагает, что это может быть мне интересно?» -- спрашивала она в недоумении; и он полагал. Эти духовные стихи он почитал главным из сделанного -- и небезосновательно.

Может быть, такие люди, как он, возможны были только в теплице позднесоветских времен. Беда в том, что в этой теплице мучили людей, в ней невозможно было дышать, и, не случись ее крушения, Сергей вряд ли прожил бы и те горькие восемнадцать лет, которые достались ему на долю с восемьдесят шестого года по нынешний. Смена времен напомнила о том, что жить вообще трудно. И никто не говорил, что будет легко. Он был из тех, кто платит сполна. Он был из тех, кто умел жалеть, поддерживать, утешать -- большего дара человеку сделать нельзя. Я рассказываю о нем в больнице, только что пришла сестра и без всякой просьбы укутала меня

платком и одеялом. Я думаю, он видит это. Я думаю, он радуется. У этой медсестры растёт мальчик, которому тоже трудно учиться в школе, зато он много читает и думает. Ничто не исчезает никуда.

***Наталья ТРАУБЕРГ***

В материале использованы фотографии:  
Валерия ПЛОТНИКОВА